



Иван Алексеевич Бунин

В поле

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0012
III.....	.0022
IV.....	.0031
Комментарии.....	.0036

Иван Алексеевич Бунин
В ПОЛЕ

Темнеет, к ночи поднимается вьюга...

Завтра рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи...

Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек...

В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных дорог, стоит хутор. Даже деревушка, которая

когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь верстах в пяти от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку — Лучезаровскими Двориками.

Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками: господским домом, «каретным» сараем и «людской» избой. Все постройки на старинный лад низкие и длинные. Дом обшит тесом; передний фасад его глядит во двор только тремя маленькими окнами; крыльца — с навесами на столбах; большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет этой крыши и узкая кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи! Все забито снегом, все спит безжизненным сном

под напевы степного ветра, среди зимних полей. Волки бродят по ночам около дома, приходят из лугов по саду к самому балкону.

Когда-то... Впрочем, кто не знает, что было «когда-то!» Теперь числится при Лучезаровке уже всего-навсего двадцать восемь десятин распашной и четыре десятины усадебной земли. В город переселилась семья Якова Петровича Баскакова: Глафира Яковлевна замужем за землемером, и почти круглый год живет у нее и Софья Павловна. Но Яков Петрович — старый степняк. Он на своем веку прогулял в городе несколько имений, но не пожелал кончать там «последнюю треть жизни», как выражался он о человеческой старости. При нем живет его бывшая крепостная, говорливая и крепкая старуха Дарья; она нянчила всех детей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковском доме. Кроме нее, Яков Петрович держит еще работника, заменяющего кухарку: кухарки не живут в Лучезаровке больше двух-трех недель.

— Кто-то у него будет жить! — говорят они. — Там от одной тоски сердце изнает!

Поэтому-то и заменяет их Судак, мужик из

Двориков. Он человек ленивый и неуживчивый, но тут ужился. Возить воду с пруда, топить печи, варить «хлебово», месить резку белому мерину и курить по вечерам с барином махорку — невелик труд.

Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и хоть некоторое время пожить на них веселее, чем обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его другой, более верный друг.

— Селям алекюм! — раздавался старческий голос в какой-нибудь хмурый день в «девичьей» лучезаровского дома.

Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович! У порога почтительно стоял и, улыбаясь, раскланивался маленький, седой человек, уже разбитый, хилый, но всегда бодрящийся, как все бывшие дворовые люди. Это прежний денщик Якова Петровича, Ковалев. Сорок лет прошло со времени Крымской кампании, но каждый год он является перед Яковом Петровичем и приветствует его теми словами, которые напоминают им обоим Крым, охоты на фазанов, ночевки в татарских саклях...

— Алекюм селям! — весело восклицал и Яков Петрович. — Жив?

— Да ведь севастопольский герой-то, — отвечал Ковалев.

Яков Петрович с улыбкой осматривал его тулуп, крытый солдатским сукном, старенькую поддевичку, в которой Ковалев казался седеньким мальчиком, поярковые валенки, которыми он так любил похвастать, потому

что они поярковые...

— Как вас бог милует? — спрашивал Ковалев.

Якоб Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая стриженная голова, седые усы, добродушное, беспечное лицо с маленькими глазами и «польским» бритым подбородком, эспаньолка...

— Байбак еще, — шутил в ответ Яков Петрович. — Ну, раздевайся, раздевайся! Где пропал? Удил, огородничал?

— Удил, Яков Петрович. Там посуды полой водой унесло нынешний год — и не приведи господи!

— Значит, опять в блиндажах сидел?

— В блиндажах, в блиндажах...

— А табак есть?

— Есть маленько.

— Ну, садись, давай завертывать.

— Как Софья Павловна?

— В городе. Я был у ней недавно, да удрал скоро. Тут скука смертная, а там еще хуже. Да и зятек мой любезный... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, интересан!

— Из хама не сделаешь пана!

— Не сделаешь, брат... Ну да черт с ним!

— Как ваша охота?

— Да все пороху, дроби нету. На днях раз-
жился, пошел пришиб одного косолобого...

— Их нынешний год страсть!

— Про то и толк-то. Завтра чем свет за-
льемся.

— Обязательно.

— Я тебе, ей-богу, от души рад!

Ковалев усмехался.

— А шашки целы? — спрашивал он, свер-
нув сигарку и подавая Якову Петровичу.

— Целы, целы. Вот давай обедать и сре-
жемся!

Темнеет. Наступает предпраздничный вечер.

Разыгрывается на дворе метель, все больше заносит снегом окошко, все холоднее и сумрачнее становится в «девичьей». Это старинная комнатка с низким потолком, с бревенчатыми, черными от времени стенами и почти пустая: под окном длинная лавка, около лавки простой деревянный стол, у стены комод, в верхнем ящике которого стоят тарелки. Девичьей по справедливости она назвалась уже давным-давно, лет сорок-пятьдесят тому назад, когда тут сидели и плели кружева дворовые девки. Теперь девичья — одна из жилых комнат самого Якова Петровича.

Одна половина дома, окнами во двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад, — из гостиной и залы. Но зимой лакейская, гостиная и зала не топят, и там так холодно, что насквозь промерзает и ломберный стол и портрет Николая I.

В этот непогожий предпраздничный вечер

в девичьей особенно неуютно. Яков Петрович сидит на лавке и курит. Ковалев стоит у печки, склонив голову. Оба в шапках, валенках и шубах; баранье пальто Якова Петровича надето прямо на белье и подпоясано полотенцем. Смутно виден в сумраке плавающий синеватый дым махорки. Слышно, как дребезжат от ветра разбитые стекла в окнах гостиной. Метель бушует кругом дома и часто прерывает разговор его обитателей: все кажется, что кто-то подъехал.

— Постой! — вдруг останавливает Ковалева Яков Петрович. — Должно быть, это он.

Ковалев смолкает. И ему почудился скрип саней у крыльца, чей-то голос, невнятно донесшийся сквозь шум метели...

— Поди-ка посмотри, — должно быть, приехал.

Но Ковалеву вовсе не хочется выбегать на мороз, хотя и он с большим нетерпением ожидает возвращения Судака из села с покупками. Он прислушивается очень внимательно и решительно возражает

— Нет, это ветер.

— Да что тебе, трудно посмотреть-то?

— Да что ж смотреть, когда никого нет?
Яков Петрович вздергивает плечами, он
начинает раздражаться...

Так было все хорошо складывалось... При-
езжал богатый мужик из Калиновки с прось-
бой написать прошение к земскому началь-
нику (Яков Петрович славится в околотке как
сочинитель прошений) и привез за это кури-
цу, бутылку водки и рубль денег. Правда, вод-
ка была выпита при самом сочинении и чте-
нии прошения, курица в тот же день зарезана
и съедена, но рубль остался цел, — Яков Пет-
рович приберег его к празднику... Потом вче-
ра утром внезапно явился Ковалев и принес с
собой кренделей, полтора десятка яиц, да еще
и шестьдесят копеек. И старики были веселы
и долго обсуждали, что купить. В конце кон-
цов развели в чашке сажи из печки, заостри-
ли спичку и жирными, крупными буквами
написали в село к лавочнику:

«В харчевню Николай Иванова. Отпу-
сти 1 ф. махорки полуотборной, 1.000
спичек, 5 сельдей маринованных, 2 ф.
масла конопляного, 2 осьмушки фрук-

тового чаю, 1 ф. сахара и 1¹/₂ ф. жамок МЯТНЫХ».

Но Судака нет с самого утра. А это влечет за собой то, что предпраздничный вечер пройдет вовсе не так, как думалось, и, главное, придется самим идти за соломой в омет: от вчерашнего дня соломы осталось в сенцах, чуть. И Яков Петрович раздражается, и все начинает рисоваться ему в мрачных красках.

Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые... Вот уж около полугода он не видал ни жены, ни дочери... Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее...

— А, да черт его побери совсем! — говорит Яков Петрович свою любимую успокаивающую фразу.

Но сегодня она не успокаивает...

— Ну, и холода же завернули! — говорит Ковалев.

— Ужаснейший холод! — подхватывает Яков Петрович. — Ведь тут хоть волков морозь! Смотри... Хх! Пар от дыхания видно!

— Да, — продолжает Ковалев монотонно.

но. — А ведь, помните, мы под Новый год когда-то цветочки рвали в одних мундирчиках! Под Балаклавой-то.

И опускает голову.

— А он, видимое дело, не приедет, — говорит Яков Петрович, не слушая. — Мы в дурацкой ажитации, ни больше ни меньше!

— Не ночевать же он останется в харчевне!

— А ты что думаешь? Ему очень нужно!

— Положим, здорово метет...

— Ничего там не метет. Обыкновенно, не лето...

— Да ведь трус государственный! Замерзнуть боится...

— Да как же это замерзнуть? День, дорога табельная...

— Постойте! — перебивает Ковалев. — Кажется, подъехал..

— Я говорю тебе, выйди, посмотри! Ты, ей-богу, совсем отетеревел нынче! Надо же самовар ставить и соломы надергать.

— Да ведь, конечно, надо. А то что ж там сделаешь ночью?

Ковалев соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовле-

ниями к топке: он подставляет к печке стул, взлезает на него, отворяет заслонку и вынимает вьюшки. В трубе начинает завывать на разные голоса ветер.

— Впусти хоть собаку-то! — говорит Яков Петрович.

— Какую собаку? — спрашивает Ковалев, кряхтя и слезая со стула.

— Да что ты дураком-то прикидываешься? Флембо, конечно, — слышишь, визжит.

Правда, Флембо, старая сука, жалобно повизгивает в сенцах.

— Надо бога иметь, — прибавляет Яков Петрович. — Ведь она замерзнет... А еще охотник! Лодырь ты, брат, как я погляжу! Уж, правда, байбак.

— Да оно и вы-то, должно быть, из той же породы, — улыбается Ковалев, отворяет дверь в сенцы и впускает в девичью Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста! — кричит Яков Петрович. — Так и понесло по ногам холодом... Куш тут! — грозно обращается он к Флембо, указывая пальцем под лавку.

Ковалев же, прихлопывая дверь, бормочет: — Там несет — свету божьего не видно!.. А,

должно быть, скоро нас потащут в Богословское! Вот-вот отец Василий припожалует за нами. Я уж вижу. Всё мы ссоримся. Это перед смертью.

— Ну, уж это обрекай себя одного, пожалуйста, — возражает Яков Петрович задумчиво.

И опять выражает свои мысли вслух:

— Нет, я уж больше не буду сидеть в этом тырле сторожем? Кажется, скоро-скоро затрещит эта проклятая Лучезаровка...

Он разворачивает кисет, насыпает сигарку махоркой и продолжает:

— Дошло до того, что завяжи глаза да беги со двора долой! А все моя доверчивость дурацкая да друзья-приятели! Я всю жизнь был честен, как булат, я никому ни в чем не отказывал. А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? Вон у племянника, Арсентия Михалыча, тысяча десятин, да разве у них есть догадочка помочь старику? А уж сам я по чужим людям не пойду кланяться! Я самолюбив, как порох!

И, окончательно раздраженный, Яков Пет-

рович совсем зло прибавляет:

— Однако телиться нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалев еще больше сторбливается и запускает руки в рукава тулупа. Ему так холодно, что у него стынет кончик носа, но он все еще надеется, что как-нибудь «обойдется»... может быть, Судак подъедет... Он отлично понимает, что Яков Петрович ему одному предлагает отправляться за соломой.

— Да ведь телиться! — говорит он. — Ветер-то с ног сшибает...

— Ну, барствовать теперь не приходится!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не молоденькие тоже! Слава богу, двум-то нам под сто сорок будет.

— Уж пожалуйста, не прикидывайся мерзлым бараном!

Яков Петрович тоже отлично понимает, что один Ковалев ничего не поделает в занесенном снегом омете. Но и он надеется, что как-нибудь обойдется без него...

Между тем в девичьей становится уже совсем темно, и Ковалев, наконец, решается посмотреть, не едет ли Судак. Шаркая разбиты-

ми ногами, идет он к двери...

Яков Петрович пускает через усы дым, и так как ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимают несколько иное направление.

— Гм! — бормочет он. — Как вам это покажется? Хорош праздничек! Лопать, как собаке, хочется. Ведь недалого царства нету... Прежде хоть венгерцы ездили!.. Ну, погоди же, Судак!

Двери в сенцах хлопают, вбегает Ковалев.

— Нету! — восклицает он. — Как провалился! Что ж теперь делать? В сенцах соломы чуть!

В снегу, в тяжелом тулупе, маленький и сторбленный, он так жалок и беспомощен.

Яков Петрович вдруг подымается.

— А вот я знаю, что делать! — говорит он, осененный какой-то хорошей мыслью, наклоняется и достает из-под лавки топор.

— Эта задача очень просто разрешается, — прибавляет он, опрокидывая стул, стоящий около стола, и взмахивает топором. — Таскай пока солому-то! Черт его побери совсем, мне свое здоровье дороже стула!

Ковалев, тоже сразу оживившийся, с любо-

пытством смотрит, как летят щепки из-под топора.

— Ведь там небось еще на потолке много? — подхватывает он.

— Валяй на чердак да самовар вытрясай!

В растворенную дверь несет холодом, пахнет снегом... Ковалев, спотыкаясь, таскает в девичью солому, ручки старых кресел с чердака...

— За милую душу истопим, — твердит он. — Крендели еще есть... Яиц бы напечь!

— Тащи их на кон. А то сидим плакучими ивами!

Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая бушует метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются к ее шуму. Поставили в сенцах самовар, затопили в кабинете печку, и оба сели около нее на корточки.

Славно охватывает тело теплом! Иногда, когда Ковалев запихивал в печку большую охапку холодной соломы, глаза Флембо, которая тоже пришла погреться к двери кабинета, как два изумрудные камня, сверкали в темноте. А в печке глухо гудело; просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок кабинета мутно-красные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью, прыскали, с треском лопаясь, хлебные зерна... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсем овладело соломой, и, когда от нее оставалась только дрожащая груда «жара», словно раскаленных, золотисто-огненных проволок, когда эта груда опадала, блекла, Яков Петрович скидывал с себя пальто, садился задом к печке и

поднимал на спине рубаху.

— Аа, аа, — говорил он. — Славно спину-то нажарить!

И, когда его толстая спина становилась багровой, отскакивал от печки и накидывал тулуп.

— Вот так пробрало! А то ведь беда без бани... Ну да уж нынешний год обязательно поставлю!

Это «обязательно» Ковалев слышит каждый год, но каждый год с восторгом принимает мысль о бане.

— Добро милое! Беда без бани, — соглашается он, нагревая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорели, Ковалев поджаривал в печке крендели, отклоняя от жара пылающее лицо. В темноте, озаренный красноватым жерлом печки, он казался бронзовым. Яков Петрович хлопотал около самовара. Вот он налил себе в кружку чаю, поставил ее около себя на лежанке, закурил и, немного помолчав, вдруг спросил:

— А что-то теперь поделывает премилая сова?

Какая сова? Ковалев хорошо знает, какая сова! Лет двадцать пять тому назад он подстрелил сову и где-то на ночлеге сказал эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, как десятки других, повторяется Яковом Петровичем. Сама по себе она, конечно, не имеет смысла, но от долгого употребления стала смешной и, как другие, подобные ей, влечет за собой много воспоминаний.

Очевидно, Яков Петрович совсем повеселел и приступает к мирным разговорам о былом. И Ковалев слушает с задумчивой улыбкой.

— А помните, Яков Петрович? — начинает он...

Медленно протекает вечер, тепло и светло в маленьком кабинете. Все в нем так просто, незатейливо, по-старинному: желтенькие обои на стенах, украшенных выцветшими фотографиями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарский вид), низкий потолок оклеен «Сыном отечества»; перед окном дубовый письменный стол и старое, высокое и глубокое кресло; у стены большая кровать красного дерева с ящиками, над кроватью

рог, ружье, пороховница; в углу образничка с темными иконами... И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрелись. Яков Петрович сидит в валенках и в одном белье, Ковалев — в валенках и поддевочке. Долго играли в шашки, долго занимались своим любимым делом — осматривали одежду — нельзя ли как-нибудь, вывернуть? — и скроили на шапку старую «тужурку», долго стояли у стола, мерили, чертили мелом...

Настроение у Якова Петровича самое благодушное. Только в глубине души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздник, он один... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!

— Ну, — говорит Яков Петрович, — возьми эту шапку себе.

— А вы-то как же? — спрашивает Ковалев.

— У меня есть.

— Да ведь одна вязаная?

— Так что ж? Бесподобная шапка!

— Ну, покорнейше благодарим.

У Якова Петровича страсть делать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который-то теперь час? — размышляет он вслух.

— Теперь? — спрашивает Ковалев. — Теперь десять. Верно, как в аптеке. Я уж знаю. Бывало, в Петербурге, по двое серебряных часов нашивал...

— Да и брешешь же ты, брат! — замечает Яков Петрович ласково.

— Да нет, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яков Петрович рассеянно улыбается.

— То-то, должно быть, в городе-то теперь! — говорит он, усаживаясь на лежанку с гитарой. — Оживление, блеск, суета! Везде собрания, маскарады!

И начинаются воспоминания о клубах, о том, сколько когда выиграл и проиграл Яков Петрович, как иногда Ковалев вовремя уговаривал его уехать из клуба. Идет оживленный разговор о прежнем благосостоянии Якова Петровича. Он говорит

— Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне не на кого пенять. А судить меня -будет уж, видно, бог, а не Глафира Яковлевна и не зятек миленький. Что ж, я бы рубашку им

отдал, да у меня и рубашек-то нету.. Вот я ни на кого никогда не имел злобы... Ну, да все прошло, пролетело. Сколько было родных, знакомых, сколько друзей-приятелей — и все это в могиле!

Лицо Якова Петровича задумчиво. Он играет на гитаре и поет старинный, печальный романс.

Что ты замолк и сидишь одиноко? —

поет он в раздумье.

*Дума лежит на угрюмом челе...
Иль ты не видишь бокал на столе?*

И повторяет с особенной задушевностью:

Иль ты не видишь бокал на столе?

Медленно вступает Ковалев:

Долго на свете не знал я приюту,
—

разбитым голосом затягивает он, сторбившись в старом кресле и глядя в одну точку перед собою.

Долго на свете не знал я приюту,
—

вторит Яков Петрович под гитару:

*Долго носила земля сироту,
Долго имел я в душе пустоту...*

Ветер бушует и рвет крышу. Шум у крыльца... Эх, если бы хоть кто-нибудь приехал? Даже старый друг, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головой, Яков Петрович продолжает:

Раз в незабвенную жизни минуту,

*Раз я увидел создание одно,
В коем все сердце мое вмещено...
В коем все сердце мое вмещено...*

Все прошло, пролетело... Грустные думы
клонят голову... Но печальной удалью звучит
песня:

*Что ж ты замолк и сидишь оди-
ноко?
Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!*

— Не приехала бы барыня, — говорит Яков
Петрович, дергая струны гитары и кладя ее на
лежанку. И старается не глядеть на Ковалева.

— Кого! — отзывался Ковалев. — Очень
просто.

— Избавь бог, плурует... В рог бы потру-
бить... на всякий случай... Может быть, Судак
едет. Ведь замерзнуть-то недолго. По челове-
честву надо судить...

Через минуту старики стоят на крыльце.
Ветер рвет с них одежду. Дико и гулко залива-
ется старый звонкий рог на разные голоса. Ве-

тер подхватывает звуки и несет в непроглядную степь, в темноту бурной ночи.

— Гоп-гоп! — кричит Яков Петрович.

— Гоп-гоп! — вторит Ковалев.

И долго потом, настроенные на героический лад, не унимаются старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Они тысячами с болота на овсяное поле! Шапки сбивают!.. Да всё матерые, кряковые! Как ни дам — просто каши наварю!

Или:

— Вот, понимаешь, я и стал за сосной. А ночь месячная — хоть деньги считай! И вдруг прет... Лобище вот этакий... Как я его брызну!

Потом идут случаи замерзания, неожиданного спасения... Потом восхваление Лучезаровки.

— До смерти не расстанусь! — говорит Яков Петрович. — Я все-таки тут сам себе голова. Имение, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мне перевернуться! Сейчас все двадцать восемь десятин — картофелем, банк — долой, и опять я кум королю!

IV

Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга.

Старикам казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится им. Ковалев глухо кашляет, с головой закрытый тулупом; Яков Петрович ворочается и отдувается; ему жарко. Да и слишком уж грозно буря потрясает стены, слепит и засыпает снегом окна! Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! Жутко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, потолки в ней низки, амбразуры маленьких окон глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад... А дальше мрак и метель, метель...

И старики сквозь сон чувствуют, как одинок и беспомощен их хуторок в этом бушующем море степных снегов.

— Ах ты, господи, господи! — слышится порою бормотанье Ковалева.

Но опять странной дремотой обвеивает его шум метели. Он кашляет все тише и реже, медленно задремывает, словно погружается в какое-то бесконечное пространство... И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее... Он слышит... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху где-то... По-потолку кто-то ходит... Ковалев быстро приходит в сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипит матица...

— Яков Петрович! — говорит он. — Яков Петрович!

— А? Что? — спрашивает Яков Петрович.

— А ведь по потолку-то кто-то ходит.

— Кто ходит?

— А вы послушайте-ка!

Яков Петрович слушает: ходит!

— Да нет, это всегда так, — ветер, — говорит он, наконец, зевая. — Да и трус же ты, брат! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толков про эти шаги на потолке. Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалев, задремывая, шепчет с глубоким чувством:

— Живой в помощи вышняго, в крове бога

небеснаго... Не убоишися от страха ноцнаго, от стрелы, летящия в дни... На аспида и василиска наступиши и попрещи льва и змия...

И Якова Петровича что-то беспокоит во сне. Под шум метели мерещится ему то гул векового бора, то звон отдаленного колокола; слышится невнятный лай собак где-то в степи, крик работника Судака... Вот шуршат у крыльца сани, скрипят чьи-то лапти по мерзлomu снегу в сенцах... И сердце Якова Петровича сжимается от боли и ожидания: это его сани, а в санях — Софья Павловна, Глаша... подъезжают они медленно, забитые снегом, еле видные в темноте бурной ночи... едут, едут, но почему-то мимо дома, все дальше, дальше... Их увлекает метель, засыпает их снегом, и Яков Петрович торопливо ищет рог, хочет трубить, звать их...

— Черт знает что такое! — бормочет он, очнувшись и отдуваясь.

— Что это вы, Яков Петрович?

— Не спится, брат! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свечку-то да закуривай!

Кабинет озаряется. Щурясь от свечки, пламя которой колеблется перед заспанными глазами, как лучистая, мутно-красная звезда, старики сидят, курят, с наслаждением чешутся и отдыхают от сновидений... Хорошо проснуться в долгую, зимнюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!

— А я, — говорит Яков Петрович, сладко зевая, — а я сейчас вижу во сне, как ты думаешь, что?.. Ведь приснится же!.. Будто я в гостях у турецкого султана!

Ковалев сидит на полу сторбившись (какой он старенький и маленький без поддепочки и со сна!), в раздумье отвечает:

— Нет, это что — у турецкого султана! Вот я сейчас видел... Верите ли? Один за одним, один за одним, с рожками, в пиджачках мал мала меньше... Да ведь какого транташá около меня разделявают!

Оба врут. Они видели эти сны, даже не раз видели, но совсем не в эту ночь, и слишком часто рассказывают их они друг другу, так что давно друг другу не верят. И все-таки рассказывают. И, наговорившись, в том же бла-

годушном настроении, тушат свечу, укладываются, одеваются потеплей, надвигают на лоб шапки и засыпают сном праведника...

Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...

Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу...

Это плохой знак — скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!

1895

Комментарии

Журн. «Новое слово», СПб., 1896, № 3, декабрь, под заглавием «Байбаки», с подзаголовком: «Из быта мелкопоместных». Печатается по тексту книги *«Начальная любовь»*.

В. Н. Муромцева-Бунина на основании записей Бунина указывает, что он привез «Байбаков» зимой 1895/1896 г. в Петербург (*«Жизнь Бунина»*, с. 95), автор датирует рассказ 1895-м г., по, очевидно, работа над ним продолжалась и в 1896 г. В письме к брату Юлию Алексеевичу от 5 ноября 1896 г. Бунин сообщал: «Я почти не выхожу, пишу рассказ, Кривенко просит для декабрьской книги», и ему же в письме от 30 ноября 1896 г.: «Сегодня прочитал во второй корректуре „Байбаков“ для декабря „Нового слова“» (ЦГАЛИ).

При переизданиях Бунин сильно сократил рассказ, главным образом за счет мест, где давалось описание разорения мелкопоместных. Например, в журнальной редакции были фразы, которые в сб. *«Рассказы»*, 1902 сняты: «Но нет,— еще не совсем вымерла Лучезаровская усадьба, хотя уже давно стоит она такая

одинокая и грустная!», или: «...как угасло это былое, как ветшали помещичьи гнезда», или: «...у Якова Петровича уже давно не было никаких земледельческих орудий, да если бы они и были, белый мерин все равно оказался бы слишком старым и ленивым для них». О своей бедности Яков Петрович говорил: «А то я это время уж окурочки вытрясал», «Теперь уж и так ни один мерзавец шапки не ломает» И др.

В рассказе есть автобиографические моменты. Так, сцена, где Яков Петрович «играет на гитаре и поет старинный, печальный романс «Что ты замолк и сидишь одиноко?», почти совпадает с дневниковыми записями Бунина: «Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, то с печальной удалью...— „Что ты замолк и сидишь одиноко...“» («Жизнь Бунина», с. 33).